

1 март. 1953. Мой 40-й
и последний день
в жизни (две
недели в Москве),
в Кардиологиче-
ской больнице с 11
ночью до полуночи
врачей и публики
Сталинграда КС
России (и
в Мюнхене, Гер-
мания, где я
зимой 1952/53)



7 марта, а я
уже для здравия
был вынужден
на 24-часовую
контрольную
посадку. Это скажет
— я живу лучше
в 11 часов утра
и в 11 часов
я умру лучше
Что — и нечестно
Сталинграда 'много',
много обнов, оно

Корней Чуковский

Корней

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ



Чуковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ



ДНЕВНИК. 1922–1935

Москва, 2017

УДК 82

ББК 84(2Рос=Рус)6

Ч-88

Чуковский, К. И.

Ч-88 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12: Дневник (1922–1935) / Коммент. Е. Чуковской. – М. : T8RUGRAM / Агентство ФТМ, 2017. – 656 с. : ил.

ISBN 978-5-519-61479-5 (т. 12)

ISBN 978-5-4467-0026-4

В книгу включены записи 1922–1935 гг. Записи вместили многие литературные события эпохи, приметы и противоречия времени. На страницах дневника впечатляющие портреты – Анны Ахматовой, Замятиной, Волошина, Пильняка, Зощенко и мн. др. Особенno интересны страницы, касающиеся деятельности издательства «Всемирная литература» и журнала «Русский современник».

В эти годы написаны и впервые изданы многие сказки Чуковского. Идет борьба с чуковщиной. Появляются первые издания «От 2 до 5» и книга «Рассказы о Некрасове». Заболевает и умирает от туберкулеза младшая дочь Мурочки.

УДК 82

ББК 84(2Рос=Рус)6

BIC FC

BISAC FIC004000

© T8RUGRAM, 2017

© Агентство ФТМ, Лтд., 2017

© К. Чуковский, наследники, 2017

© Е. Чуковская, составление,

ISBN 978-5-519-61479-5 (т. 12)

подготовка текста,

ISBN 978-5-4467-0026-4

комментарии, 2017

1 января. Встреча Нового года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Федином, Замятиным, Ходасевичем — и их дамами, а кругом были какие-то лысые — очень чужие. Ко мне подошла М. В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне:

— Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

— Какие товарищи? — спросил я.

— Большевики.

— Сволочь! — заорал я на 70-летнюю старуху — и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И, конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь — она первая подходит ко мне и говорит: «Ну, ну, не сердитесь...»

Говорились речи. Каждая речь начиналась:

— Уже четыре года...

А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у русской литературы есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но это трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты — о каждом из нас, причем назвал меня Врид Некрасова (временно исполняющий должность Некрасова), а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома Литераторов, — внучку

¹ Продолжение. Начало см.: Дневник. 1901–1921 (Т. 11 наст. изд.).

Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся — но была тоска. Явился запоздавший Анненков. Стали показываться пьяные лица, и тут только я заметил, что большинство присутствующих — евреи. Евреи пьяны бывают по-особыному. Ходасевич еще днем указал мне на то, что почти все шкловитяне — евреи, что «формально-научный метод» — еврейский по существу и связан с канцелярскими печатями, департаментами. Потом пришли из Дома Искусств два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум. Эйхенбаум печатает обо мне страшно ругательную статью — но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из его слов я увидел, что многое основано на недоразумении. Напр., фразу «Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем»* он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником «формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Некрасову.

Тынянова книжка о Достоевском мне нравится*, и сам он — всезнающий, молодой, мне нравится. Уже женат, бедный.

Потом Моргенштерн читал по нашему почерку — изумительно: Анненкову, которого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле сильная. Вы сейчас — в самом расцвете и делаете нечто такое, от чего ожидаете великих результатов. Вы очень, очень большой человек».

Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.

О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.

Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно, — но обиделся. И жена его обиделась, смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)

Потом меня подозывал к себе проф. Тарле — и стал вести ту утонченную, умную, немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические статьи — классические. Их мог бы написать Тэн. Это — о Вербицкой и о Нате Пинкertonе. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть...» И стал цитировать. Рассказывал свой разговор со скульптором Иннокентием Жуковым. «Я говорю ему: знаете в Лувре — Schiavi¹ Микель Анджело. Я только теперь, будучи в Париже, всмотрелся в них как следует. Какая мощь и проч. А он мне: — Да,

¹ рабы (итал.).

Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров*. Тот согласился.

А в зале происходили чудеса. Моргенштерн — давал сеансы спиритизма. Ему внушили выхватить из четырех концов залы по человеку. Он вошел, стал посередине, а зала — большая, а народу много, и вдруг как волк, быстро, быстро, кинулся вправо, влево! хват — хват — в том числе и меня, без раздумья выстроил в ряд. И т. д., и т. д.

Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее.

Коля рассказывает, что Анна Николаевна Гумилева (вдова), несмотря на свое вдовье положение — танцевала вчера вовсю — накрашенная до невероятия. Это — идиотка — в полном смысле этого слова. Она пришла к Наппельбауму, фотографу: там висит ее портрет и портрет Анны Ахматовой. Она возмутилась: «Почему Ахматову повесили выше меня? Ведь Ахматова была разведенная жена Гумилева, а я настоящая». У нее с Ахматовой отношения тяжкие: обе бабы доводят друг дружку до истерик.

Боба говорит, что он помнит войну — 14-й год.

Приехал из Ростова театр — ставит «Гондлу»*.

Хочется мне пойти и поздравить Сологуба. Был у Белицкого — по поводу своей книжки о Блоке. О! как я ошибался в этом человеке. Это паучок из самых тихеньких. Вежливо и деликатно — он высосет из вас все, что у вас есть, — а вы даже и не заметите.

У него был Шкловский с обритой головой, желтый — после вчерашнего пьянства. Говорит веско, отрывисто. С Белицким — угловат и угрюм, — это на того действует.

2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге*. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему.

Писал о Мише Лонгинове*. Хочу переделать ту дрянь, которая была написана мною прежде.

13 февраля. Щеголев живет на Петербургской Стороне. Это человек необыкновенно толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом — и широчайшей русской повадкой. Недавно говорит мне: «Продайте нам («Былому») две книжки». Я говорю: «С удовольствием». Изготовил две брошюры о Некрасове, говорю: «Дайте пять миллионов!» Щеголев: «С удовольствии-

ем». Потом ходила моя жена, ходил я, не дает ни копейки. Дал как-то один миллион — и больше ничего. — «У самого нет». И правда: сын его сидит без папирос, — дальше некуда. А у меня ни одного полена. Я с санками ходил во «Всемирную», выпросил поленьев двенадцать, но вез по лютому морозу, без перчаток, поленья рассыпаются на каждом шагу, руки отморозил, а толку никакого. Я опять к Щеголеву: «Ради бога, отдайте хоть рукописи». — «Да вам деньги на что?» — «А мне на дрова». — «На дрова?» — «Да!» — «Так что же вы раньше не сказали? Завтра же будут вам дрова. Пять возов!» Я в восторге. Жду день, жду два. Наконец моя жена идет сама к дровянику (адрес дровяника дал Щеголев) — и тот говорит: «С удовольствием послал бы, но пожалуйте денежки, а то г-н Щеголев и так должен мне слишком много». Мы купили у него воз, — а я достал денег, отнес Щеголеву миллион и взял назад свои рукописи. С тех пор мы стали приятелями. Оказывается, он знаменит своим *несдержанением слова*. Это тоже в нем очаровательная черта — как это ни странно. Она к нему идет. Еще никогда он не сдержал своих обещаний. Вчера я с Замятным были у него в гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли кому в жизни воровать. Щеголев медленно, со вкусом рассказал:

— Есть в Москве Мария Семеновна... Или была, теперь она пострадала от Чеки — а может, и снова возникла... У нее можно было пообедать и выпить. Очень хорошая женщина. И так у нее хорошо подавалось: графинчик спирту и вода *отдельно*. Хочешь, мешай в любую пропорцию. Ну вот, я у нее засиделся, разговорился, а потом ушел — очень веселый. А были там еще какие-то художники — пили. (Пауза.) Художники казались ей подозрительны. Почему-то. На следующий день прихожу к ней, она ко мне: «Как вы думаете, не могли ли художники унести у меня одну вещь?» — «Какую?» — «Стакан — драгоценный, старинный». — «Неужели пропал?» — «Пропал!» — «Нет, говорю, художники едва ли могли». — «Тогда кто же его взял?» Она в отчаянии. Прихожу я домой и NN рассказываю о воровстве, NN идет к шкафу и достает стаканчик! «Вы, говорит, вчера сами его принесли, показывали, расхваливали, — неужели это чужой?»

Даже при рассказе все огромное лицо Щеголева порозовело. Кроме нас с Замятным были у Щеголева Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова, по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.

Он очень постарел, скучен, как паутина, и умеет говорить лишь о Тютчеве, которым теперь «занимается». Душил нас весь вечер рассказами о том, как он отыскал такую-то рукопись, потом такую-то, и сначала был «один процент неуверенности», а потом и

этот «один процент» исчез, когда к нему пришел покойный Эрнест Эдуардович Кноппе и сказал: был у меня в Париже знакомый и т. д. ...

1922

Ахматова прочитала три стихотворения: одно черносотенное, для меня неприятное (почему-то) — потом два очень личных (о своем Левушке, о Бежецке, где она только что гостила) и другое о Клевете*, по поводу тех толков, которые ходят о ее связи с Артуром Лурье.

Замечателен сын Щеголева, студент 18 лет, напускает на себя солидность, — говорит басовито, пишет в «Былое» рецензии — подетски мил — очарователен, как и отец.

Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине какой-то Дроздов: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоуханным женским коленям, целуешь душистое женское плятье»*. Впрочем, рассказывал Замятин, а она только смеялась.

Щеголев-сын рассказал, что И. Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля за то, что те согласились печататься в советской прессе, «а впрочем, как же было не согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».

— И как они могут в этой лжи жить? — ужасается Ахматова.

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной.

— Садитесь! Это единственная теплая комната.

Сегодня только я заметил, какая у нее впалая, «безгрудая» грудь. Когда она в шали, этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.

— То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, злой?..

Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски: «Ну зачем Коля взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:

— Если Аня не изменится, я с нею разведусь.

Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был несчастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссорились, как все ссорятся, и я сказала ему — найдя в его пиджаке записку от другой женщины, что «а

1922

все же я пишу стихи лучше тебя!» Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так — во что бы то ни стало — хотел быть хорошим поэтом.

Предлагали мне Наппельбаумы стать синдиком «Звучащей Раковины»*. Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице — даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера. — Дайте хоть что-нибудь.

— Хорошо Сологубу! — говорит она. — У него все ненапечатанные стихи по алфавиту, в порядке, по номерам. И как много он их пишет: каждый день по несколько.

15 февраля. Вчера весь день держал корректуру Уитмэна. «Всемирная Литература» солила эту книгу 2 года — и вот наконец выпускают. Коробят меня кое-где фельетонности, но в общем ничего. Вчера наконец-то нам выдали семейный паек. Слухи о том, что Волынский хочет издавать казенную газету, подтверждаются. Собираю материала для журнала.

17 февраля. Пятница. Мурке скоро 2 года. Она упражняется в говорении весь день, делает всевозможные словесные опыты, поет. Однажды по инерции она сказала:

— Мама-ама!

Я сказал ей: *мама* вовсе не *ама*, внушив ей таким образом, что *ама* сказуемое, имеющее характер порицания:

— Мама — хорошая, мама вовсе не ама.

Она мгновенно уловила этот оттенок и теперь, когда сердится на меня, говорит:

— Папа-апа!

Когда сердится на Зину:

— Диди-иди!

Занят переделками: футуристов и «Ахматовой».

Кашу Мура называет бля-бля.

19 февр. 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан!» (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку»*, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а